

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В знойной тишине пели жаворонки. Шустрая лошаденка, неумоимо помахивая хвостом, легко тащила скрипучую телегу по мягкой проселочной пыли. Справа с вожжами шел говорливый молодой человек из недоучившихся, слева — Лев Николаевич. Василий Иванович Олексин сидел в телеге, хотя ему тоже хотелось слезть и идти пешком. Но слезть означало оказаться либо слева, либо справа и тем самым невольно нарушить расстановку сил накануне спора. А спор назревал, потому что молодого человека несло красноречие, а граф уже хмурился.

— Прогресс можно обеспечить только всеобщей грамотностью...

— Далеко еще? — спросил Василий Иванович, посмотрев на Толстого.

— Версты четыре, — не задумываясь, ответил молодой человек. — Нет, нет, не скажите. Лев Николаевич, я читаю журналы весьма серьезные. Человечество вздрогнуло, пробудилось от векового сна и готово шагать и шагать. Посмотрите, какие успехи в механике, в промышленности, в усовершенствованиях всякого вида. Наконец, электрический ток есть, что вполне вероятно, та энергия, с помощью которой человечество...

Молодой человек, Илья Самсонович Колофидин, был сельским учителем и ярым адептом толстовской системы обучения. До сей поры он не встречал Толстого, но случай привел свидеться, и Илья Самсонович

спешил высказаться. Весь день в Ясной Поляне он восторгался увиденным, но соблазнил ее хозяина не тем, что учил детей согласно толстовской методике, а упоминанием о «старце святой жизни», поселившемся невдалеке от села, где учительствовал Колофидин. Это брошенное вскользь сообщение, несмотря на заложенную в нем юношескую насмешку, привело к тому, что Лев Николаевич решил непременно познакомиться со старцем, тут же уговорил Василия Ивановича, и они с зарею выехали на телеге, на которой молодой человек прибыл в Ясную Поляну.

— Назад странничками обернемся, — сказал Толстой Олексину. — Походим, побродим, мир поглядим и людей послушаем.

Колофидин искренне восхищался толстовским методом обучения, не подозревая, что сам Лев Николаевич к этому времени уже начал возгораться новым пламенем.

— Прогресс — вот то новое божество, которое...

— Пустое, — уже не скрывая раздражения, буркнул Толстой. — Слово пустое, нет за ним никакого смысла. Трещат все: «Прогресс, прогресс!» — а что же это такое? А ничего, логарифм времени, если угодно, а не аршин, не мера развития.

— Позвольте, Лев Николаевич, я не понимаю, — вскинулся Колофидин. — Прогресс есть движение общества вперед на основе накопленных знаний.

— А раньше это общество назад двигалось? Или вбок?

— Но как же можно сравнивать, Лев Николаевич, — не понимая, что имеет в виду собеседник, горячась от этого, сказал Илья Самсонович. — А всеобщая образованность, к которой вы сами же стремитесь, которую... то есть в которой вы находите... Нет, нет, вы же не последовательны, Лев Николаевич!

— Последовательность — черта спорная. Заметьте, что самыми последовательными людьми являются лю-

ди ограниченные. Их хватает на то лишь, чтобы уяснить, а чаще затвердить себе одну идею, и они последовательно держатся за нее, поскольку не могут ничего нового воспринять. А мир меняется каждое мгновение. День мой — век мой. Век! Его же понять надобно, осмыслить, себя в нем пересмотреть, а вы говорите — последовательности нет. И слава богу, что нет. Последовательность исправникам нужна да лунам, чтобы во лжи не запутаться.

Лев Николаевич всегда любил и умел спорить. Но именно в этот год — год начала мучительнейших исканий, растерянности, даже мыслей о самоубийстве — граф часто спорил ради самого спора. Он горячился, порою обижал собеседника, а потом долго ругал себя за несдержанность и искренне сожалел и мучился. Зная это, Василий Иванович продолжал сидеть в неудобной и тряской телеге, не желая быть втянутым в разговор.

— Но как же можно, как же можно, Лев Николаевич, прогресс отрицать! — сокрушался Колофидин, не понимая, чем вызван гнев Толстого. — Прогресс — явление общеевропейское, если угодно, по прогрессу о культуре страны ныне судят, равно как и по распространению грамотности.

— Кто судит? — Толстой сердито задвигал клочковатыми бровями. — Говоруны, сударь, и судят. Говоруны. Придумали словцо новомодное и пошли все под него подгонять. Машину изобрели — прогресс, пушку новую выдумали — прогресс, мужика грамоте обучили — опять прогресс! Говорите, по грамотности и о культуре страны судят? Уж и подумать лень, коли словцо наготове. Вон, Швейцарию возьмите для примера — все грамотны, а что миру отдано? Часы Павла Буре? — Лев Николаевич оглянулся на Олексина. — А вы чего в телеге трясетесь? Опять споров бежите? Где истина?

— Посередине, — сказал Василий Иванович, улыбаясь. — Вот я ее и придерживаюсь.

Граф недовольно фыркнул и отвернулся. Некоторое время спорщики шли молча. Колофидин робко поглядывал на Толстого, потом не выдержал:

— Не понимаю, Лев Николаевич, ей-богу, не понимаю вас. Как же тогда цивилизацию оценивать, культурность стран, ежели и грамотность вы ни во что уж не ставите?

— Почему ни во что не ставлю? Ставлю очень высоко, неверно истолковали. Вам же не приходит в голову по сытости населения культурность измерять? В Индии или Китае голод каждый год да и грамотности никакой нет — что же, в некультурные страны их зачислим? С буддизмом не знакомились или с конфуцианством? Познакомьтесь: культура величайшая, Европе такая не под силу. Вот какие парадоксы в мире, а мы, зная о них не желая, все о прогрессе твердим и радуемся как дети: ах, еще одну железку расплющили!

— А чем все же разницу измерить? — не выдержал Олексин. — Ведь есть же она, разница эта: одни народы вперед ушли, другие отстали. Как же вы несоответствие сие объясните, Лев Николаевич? Сытостью не годится, грамотностью тоже нельзя, научным прогрессом — упаси бог, слово для вас почти ругательное.

— Бессмысленное, — буркнул Толстой недовольно.

— Хорошо, пусть бессмысленное. Однако страны неодинаковы, народы неодинаковы: одни достигли высокой культуры, другие не достигли еще, а у иных — в прошлом она, как сон, в традиции выродилась или в культ. Так ведь?

— Покурим, — сказал Толстой. — Покурим, остынем, подумаем и начнем сызнава.

Колофидин остановил лошадь, отпустил супонь и расслабил упряжь, повесил торбу с овсом. Василий Иванович лежал на спине, разглядывая бездонную жаркую синеву, Толстой молча курил, сидя рядом. Илья Самсонович подошел к ним, присел — бочком, поодаль, не отрывая глаз от Льва Николаевича. Олексин улыб-

нулся, вспомнив самого себя: совсем недавно он точно так же смотрел... нет, пожалуй, не смотрел — взирал на графа. Теперь отношения их упростились, став воистину дружескими. «Молодость», — подумал он и сказал неожиданно:

— Что-то Федя не пишет. Где он, что с ним?

— Это нигилист-то наш? — улыбнулся Толстой. — Ищет, Василий Иванович, истины взыскует. Вот коли бы в этом прогресса добивались, я бы и сам прогресс понял. А то все — внешнее. Вовне ищем, вовне достигаем, вовне и радоваться хотим. А не понимаем, почему радости нет.

Колофидин поморгал белыми ресницами, неуверенно кивнул, ничего не поняв, но спросить не решился.

— Толчками человечество восходит, — все еще сердито продолжал Лев Николаевич. — Большинство людей мыслят неразумно или вообще не мыслят. И живут поэтому временем объективным — часами, годами, веками даже. Вроде бы время движется, а на самом-то деле стоит. Иной раз десятками и сотнями веков стоит на месте, словно замерев для какого-либо народа. Скажем, для африканских кафров или бушменов замерла история. Нет ее, есть лишь временное течение, объективная реальность. Но приходит к таким кафрам провидец, пророк, мудрец, находит истину — и народ начинает время мерить субъективно, прожитым и пережитым, количеством и силой впечатлений. Вот тогда и есть смысл говорить о прогрессе как о толчке, о ступени вверх.

— А потом? — тихо спросил Колофидин.

— Что — потом?

— Потом что с народом, после толчка?

— Потом? — Лев Николаевич подумал, недовольно повздыхал и закурил новую папиросу. — Потом движение затухает, хотя прогресс еще есть, поскольку есть еще инерция толчка. Ну а уж после того истину, мудрецом открытую, начинают приспособлять к тому, что получилось. И истина уже не зовет, не будоражит умы,

не просвещает их, а — объясняет, что к чему. Она постепенно начинает жить во времени, а не сверх него. Так получилось с учением Христа: истину укрыли, запутали, приспособили, заобъясняли настолько, что все в обратность обернулось. Как молиться да как креститься. А Христос не о том учил, совсем не о том.

— А о чем? — тихо спросил Василий Иванович.

— Возможно ли постичь... — вздохнул Толстой. — Да и «постичь» — слово не то. Тут разум бессилён, тут что-то иное.

Он замолчал, нахмурившись. Олексин уже ругал себя, что коснулся запретного, даже не столько запретного, сколько болезненного: точно ткнул пальцем в открытую рану. Чтобы уйти от этого, сгладить, перевести разговор на иное, спросил о заглушённом — о разнице в культурном развитии.

— Думаю, что о степени культурности страны следует судить не по распространению грамотности, — как-то нехотя сказал граф. — Следует судить по степени нравственности высшего слоя населения. Наиболее развитого, способного сомневаться, а следовательно, мыслить. Мыслить, а не заучивать готовенькое. На Руси у нас хорошо, если четверть грамотна, а у нас — Пушкин, Герцен, литература, мысли. Уничтожьте наш высший слой, и нравственность замрет, даже если поголовно все станут грамотными. Культура — это ведь не столько знания, сколько воспитание, традиции семьи, круг интересов, независимость и оригинальность мышления: она богатой почвы требует, вековой. Подкормили лошадку, Илья Самсонович? Так, может, тронемся с богом, а?

Вновь неумоимо, как заведенная, помахивала хвостом лошаденка, вновь Толстой привычно шагал сбоку. Василий Иванович в телегу не сел, шел с другой стороны, держа вожжи, а Колофидин плелся сзади, то ли уясняя сказанное, то ли споря с этим. Припекало, в знойном безветрии самозабвенно пели жаворонки.

— Покойно-то как, — вздохнул Олексин.

— Вот-вот, — с живостью подхватил Лев Николаевич, точно Василий Иванович высказал бог весть какую важную мысль. — Нет для нас времени, чувствуете? Будто остановилось оно, замерло, а ведь каждый миг кто-то умирает или на свет божий рождается — для них время есть, существует. И для солдата существует, что сейчас на Балканах под пулями стоит, еще как существует! Время живое, оно не абсолют, замерший в вечно отмеренных мерах. Тогда отчего так? — Он вдруг оборотился к молодому человеку. — А вы почему вопросов не задаете? Ведь знаю же, что не поняли рассуждений моих, так почему же не спрашиваете, истины не добиваетесь?

Колофидин растерянно пожал плечами. Он не привык к такой напористой манере разговора, терялся и замыкался в себе.

— Стесняется, — тихо сказал Василий Иванович.

— Стесняться надо скверных поступков, а коли не знаешь, сомневаешься в чем, так спрашивай, спорь, ответа требуй, — проворчал Лев Николаевич. — А главный вопрос в том состоит, что лишь человеку дано абсолютность и относительность времени чувствовать. Стало быть, это свойство души его, а тогда — зачем?

— Неправда, неправда! — неожиданно закричал Илья Самсонович, догнав телегу со стороны Олексина. — Это... это совершенно неправильно, нематериалистично, нелогично даже! Зачем же вы затемняете?

Он говорил, захлебываясь и путаясь в словах; мысль рвалась, терялась, и молодой человек нервничал и мучился еще больше. Василий Иванович глядел на него с удивлением, а Толстой оживился:

— Ага, решили поспорить?

— Это не спор, нет, нельзя спорить с очевидностью. Вы же всегда к ясности стремились, вся система ваша — ясность и простота. А сейчас это... про время. Зачем же?

— Вот и я спрашиваю: зачем? — вздохнул граф. — Неправильно рассуждаю? Возможно. Укажите, где ошибся. Или, по-вашему, вообще тут нет места рассуждениям, ибо ложны они, эти мои рассуждения, изначально? Но ведь дитятя времени не разумеет? А ребенок? А взрослый мужик? Я не о чувстве времени говорю, я о разумении его толкую. Чувство времени и собаке ведомо, а вот разуместь его лишь человек способен. И чем выше он духовно, тем глубже разумеет. Так зачем же ему разумение сие? Вот ведь в чем тут вопрос.

— Да в чем же тут вопрос, в чем? — почти в отчаянии прокричал Колофидин.

— В том вопрос, что в смерть он упирается, — строго сказал Лев Николаевич. — А что есть смерть — конечность или бесконечность? И почему, повторить вынужден, только человеку субъективное время замечать дано? Не потому ли, что из всех живых, на земле сущих, он один знает, что смертен? И заметьте: чем разумнее человек, тем больше он это субъективное время ощущает. Не потому ли, что к бесконечности стремится душа его?

— Если под бесконечностью пустоту разумеете, тлен, распад химических элементов, то зачем же в такую пустоту стремиться? — спросил Олексин.

В последнее время Лев Николаевич часто и даже с некоторым пристрастием заговаривал о смерти, и поэтому Василий Иванович задавал вопрос с осторожностью.

— Легко быть праведником, в Бога не веруя, — вздохнул Толстой. — Значит, химические элементы под Плевной в атаку идут? И бабы тоже эти самые элементы на свет рожают в слезах да в муках? Легко вы живете, господа материалисты, на все-то у вас ответ готовенький, на все-то у вас объяснение, как в классе. Какие там сомнения, когда все ясно! От лукавого все сомнения, и любовь-то сама уж не любовь вовсе, не озарение Божие, а химическая реакция с выделением тепла.

— Я этого не утверждаю, Лев Николаевич.

— Утверждаете! — гневно крикнул Толстой, сдвинув густые брови. — Не прямо, так косвенно, а все равно утверждаете. Смерть нельзя отрицать, равно как и жизнь, а коли столь просто все объясняете, то столь же просто и жизнь вынуждены объяснять. Ибо неразделимы они, понятия эти, как неразделимы два времени — субъективное и объективное. И может... — Он внезапно остановился, помолчал, сказал неуверенно, точно спрашивая самого себя: — Может, и живу-то я тогда лишь, когда субъективное время чувствую? А когда объективно оно течет, может, тогда-то и не живу? Не живу, а существую лишь как набор химических элементов. А жить — значит в своем времени существовать. В своем, собственном, от других отличном. Душа когда с тобой сливается, так и время твое течет. И это жизнь, а то... То — смерть. Да. Как просто все. Как просто!

— Если так просто, может, и к старцу не стоит ехать? — простосердечно спросил Василий Иванович.

— К старцу? Отчего же, поедем. Непременно поедем и спросим непременно. Что есть жизнь и что есть смерть? Что есть время мое, а что — безвременье? И зачем я во временах сих между жизнью и смертью? Зачем?

Илья Самсонович вновь отстал, плелся за телегой, глотал пыль, сокрушенно бормоча:

— Нет, не понимаю. Не понимаю. Ничего не понимаю!..

2

Старец был маленьким, чистеньким, благообразным. Аккуратненькой была темная ряса и скуфейка, и даже редкая бороденка росла так ровно, что казалась подстриженной, а голые розоватые щечки над нею — старательно выбритыми. И на левой чистенькой розовой щечке сидела большая сытая вошь.

Василий Иванович разглядывал пустытника с жалостью и брезгливостью одновременно. Чувства эти су-

ществовали как бы в борьбе, и поэтому Олексин поначалу не слышал, что именно рассказывал чистенький старичок, вызывавший у него тошнотворную гадливость, по всей вероятности, лишь старческой забывчивостью. «Хоть бы рукой по щеке провел, — думал Олексин с тоской. — Почесался бы, что ли...»

Вошь на чистой щечке привлекала его внимание куда больше, чем та капелька, что частенько свисала с кончиков носов у виденных им прежде старичков-странников, с которыми Лев Николаевич часами вел беседы в Ясной Поляне. То было, в общем, чем-то обычным, к чему он вскоре притерпелся, сейчас же мерзкое насекомое невольно завораживало его, отвлекало, бесило, путало мысли. Он мог только поддакивать. До тех пор, пока громкий голос Толстого не вывел его из транса:

— Стало быть, солдаты в Болгарии мрут во искупление грехов наших? Когда же гекатомбу такую Бог потребовал? Где, укажите мне, где, в каком Писании отмечено сие?

— Кто без креста, тот враг Божий, — ласково улыбался старец. — И благословен есть меч Христов.

— Христос призывал прощать врагов.

— Но не веры, не веры, — продолжал мягко улыбаться собеседник, и жирная, намертво всосавшаяся в розовую щечку вошь шевелилась вместе с кожей, точно принимая участие в этой ласковой, располагающей улыбке. — Враг веры Христовой без прощения и без спасения. Души у него нет, души. Душа, она при крещении вкладывается. И крест есть, — старец широко развел руки, показывая, — есть держатель души в плоти нашей грешной. Есть знак великий и символ.

— Значит, кто без креста, тот...

— То погано, — строго сказал пустынный. — Коль не закреплена душа в теле символом муки Христовой, так уйдет она со днями младенчества. Потому нехристь не человек есть, а подобие его. А православие есть правая сила Христова.

— Так выходит, что православные уж и не рабы Божьи, а как бы гвардия Его? Православному, следовательно, все можно, все дозволено и всегда он прав в делах своих? Правильно ли вашему рассуждению следую? Тогда где же свобода воли? Ведь крещение не освобождает от греха...

Василий Иванович не следил за началом разговора и не представлял, какую цель ставил Толстой. Хорошо зная графа, чувствовал, как копится в нем злое торжество, но не понимал его причин. Тем более что в последнее время Лев Николаевич очень страдал от прорывавшегося подчас сердитого раздражения, пытался обуздать свою нетерпимость, а тут — почти радовался. Закипал внутренне и радовался этому кипению: Олексин видел знакомые огоньки в глубоко запрятанных серых глазах.

— Кто к Богу ближе, тот и прав.

Старец улыбался неизменно ласково и покровительственно, словно заранее знал все ответы, прощал себе-седнику заблуждения, а заодно и отпускал грехи. Однако не это приторное смирение и одновременно превосходство вызывало негодующее кипение Толстого. Причина была в неприятии им несложного набора истин, которыми оперировал старец.

— А магометане считают, что они к Богу ближе, и иудеи то же проповедуют, да и все прочие. Стало быть, религия разъединяет народы, а не объединяет их? Стало быть, под крестом ли, под полумесяцем или еще каким символом зло собрано, а не добро? Зло, добром себя полагающее?

— А дух смущен. Смущен дух.

— Смущен, потому что истины дух этот алчет, а его ложью кормят. Коли ученье ложью прикрывается, то лживо оно само. Коли приверженцев избранными полагают — ложь; коли на убийство себе же подобных призывают — ложь; коли спасение не в смысле учения видят, а в форме одной лишь — опять ложь. Разве Христос тому учил? Он учил, что все люди — братья: вот истина;

Он учил — не убий: вот истина; Он учил любить, а не ненавидеть, прощать, а не мстить — вот смысл учения Его.

На мгновение одно лишь замерла улыбка на губах старца. Но он совладал с собой, вновь благодушно и ласково распустив ее по лицу.

— Гордыня то. Гордыня тебя обуяла. Молись.

— Не благословляй, старик, — сурово сказал Толстой, вставая. — Руки твои мечи благословляют, а слова зло оправдать тщатся. Труп ты живой, а не мудрец. Пойдемте, Василий Иванович.

Толстой вышел первым, не оглядываясь. Не ожидая такой стремительности, Олексин замешкался и, ощущая виноватую конфузливость, остановился на выходе, чтобы поклониться. Оглянулся, увидел старца уже без улыбки, увидел и руку его, тянущуюся к левой щеке, где так уютно пристроилась вошь. И старец мгновенно заулыбался, закивал головой и стал широко крестить уходящих тою же рукой, что тянулась к зудящей левой щеке.

Лев Николаевич шагал быстро, и Олексин нагнал его уже в конце тропы, что вела от замшелого сруба старца к лесной дороге. Ожидал гневных речей в адрес изолгавшихся фарисеев или, наоборот, яростного приступа самобичевания, но Толстой встретил смехом, громким и немного злым.

— Ложь-то как сама собой упивается, а, Василий Иванович? Беспредельно падение, коли знают все, что ложь кругом, и упиваются ею, и глазом не моргнут, и правды уж и не боятся, а не понимают ее. Не приемлют более, будто ты на другом языке с ними говоришь. Ну? Что вы молчите?

— Неправда, не все изолгались.

— Конечно, не все, — весело согласился Толстой. — Коли бы все — завтра бы застрелился. Думал уж и об этом, дорогой Василий Иванович, думал. А поговорил вот с проповедником сим, во лжи плавающим, и понял, что не стоят они смерти моей. Нет, искать надо, что лжи

этой ползучей противопоставить, искать, в чем она и как она ими спрятана, истина-то Христова.

— Проповедник оказался старым и неумным, Лев Николаевич, — сказал Олексин. — Живет он в своих представлениях и в своем времени, не понимая, что время его прошло. Старики обладают зловещей способностью задерживать в себе время, как в консервах.

— Не соглашусь, Василий Иванович, он умен, но умен зло, злым умом. А злой ум под себя гребет. Все — себе, и ничего другим, кроме грошовых поучений. И уж никогда не задать таким людям себе вопроса, от которого спасаются... либо вешаются.

— Какого же вопроса?

— Простого: зачем я? — Толстой помолчал. — Этот старик все правильно говорил, только наоборот, понимаете? Будто перед мыслями его стоял знак минуса. Вот и получилось у него, что Христос приходил в мир, чтобы разъединить людей по убеждениям и совести, что православный всегда прав, всегда, без исключения, во всех случаях жизни, что... — Он неожиданно замолчал. Потом спросил: — Америку свою помните еще? Вешали вас там. Простые люди, пастухи.

— Не вешали. Пытались и страшали.

— Пытались — и отпустили. — Толстой остановился, пытливо посмотрел на Олексина. — А почему? Не потому ли, что не сопротивлялись вы? Не сопротивлялись, вот вас и отпустили с миром. А коли бы сопротивляться надумали?

— Их много было, — улыбнулся Василий Иванович. — Какое уж там сопротивление.

— Нет, не потому! — вдруг громко крикнул Толстой. — Не потому, Василий Иванович, не потому!

Он вновь быстро зашагал по тропе. Где-то близко, за кустами, шумно вздохнула лошадь: на дороге дожидался Илья Самсонович.

— А вошь на щеке заметили? — Лев Николаевич неожиданно обернулся к Олексину и весело расхохотался. — Жирную такую, здесь, на щеке? Заметили? Затем

и посадил, чтобы мы заметили: она ведь дохлая, вошь-то эта. Он ее для приемов сажает, как орден. Вот ведь до чего изолгаться можно, коли не по правде живешь! До мертвой вши вместо ордена. Потому что без веры, Василий Иванович, без истинных убеждений человек превращается в животное. Да не в простое, а в государственное. В государственное животное, так-то вот, до-рогой мой нигилист, так-то вот.

3

В то время как русские войска стягивались к Дунаю, Кавказская армия уже пересекала границу Османской империи. Передовые части ее по горным, раскисшим от тающих снегов дорогам почти без боев вышли на линию Баязет — Ардаган, волоча на себе увязавшие в грязи по ступицы орудия и повозки.

Этот театр военных действий хорошо был знаком по войнам 1828 и 1854 годов. Знакомы были крутые, узкие дороги, караванные тропы, перевалы и ущелья, укрепив которые турки могли надолго задержать продвижение наступающих войск. Чтобы воспрепятствовать этому, командир специально сформированного корпуса генерал от кавалерии Михаил Гариэлович Лорис-Меликов с благословения главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича наступал по трем направлениям. Действовавший на левом фланге Эриванский отряд генерал-лейтенанта Тергукасова получил задачу овладеть городом и крепостью Баязет, а в дальнейшем во взаимодействии с главными силами наступать по Алашкертской долине к Эрзеруму.

— Знакомый путь, знакомый, — говорил Тергукасов на военном совете, расхаживая по штабной палатке. — Две особенности прошу припомнить и не забывать.

Генерал был невелик ростом и не любил сидеть, когда сидели подчиненные. Он всегда оставлял за офицерами право личной инициативы, но учил принимать во внимание не только военные соображения.

— Мирное население этой местности — малоазиатские христиане. На нас они уповают как на спасителей своих, и не учитывать сего невозможно: это первое. Второе — горы заселены курдскими племенами, воинственными и разбойными. Коли нейтралитет соблюдут — удача, однако требую крайней осторожности. В ссоры не вступать, стариков не оскорблять, скот, имущество и женщин не трогать. Карать за нарушение сего приказа. Карать прилюдно, сурово и незамедлительно собственной властью каждого командира. Мы несем свободу, господа, миссия наша священна, и дела наши, как и помыслы, должны быть святы и благородны.

Курды внимательно следили за продвижением русских, но ни в переговоры, ни в схватки не вступали. Русские держались дорог и селений, в горы не поднимались и исконно курдских территорий не занимали. Обе стороны настороженно блюли вооруженный нейтралитет.

— Ну абреки, — вздыхал подполковник Ковалевский, встречая гарцюющих на склонах всадников. — Ну не приведи господь. Голубчик, Петр Игнатьич, не поторопите ли обозы? Растянулись, отстали. Да заодно и санитаров...

В санитарном отряде ехала Тая. Гедулянов и без просьб Ковалевского старался не спускать с нее глаз, навещал, просил не отходить за цепь разъездов. А командиру Хоперской сотни, что несла арьергардную службу в тыловой колонне 74-го Ставропольского полка, сотнику Гвоздину сказал:

— Головой за нее отвечаешь.

Сотник недобро усмехнулся в прокуренные усы, но слова принял к сведению. Капитана Гедулянова знали все.

18 апреля Тергукасов вступил в Баязет. Оборонявшие его турецкие войска без боя отошли в горы Ала-Дага, несмотря на категорический приказ командующего Анатолийской армией Мухтар-паши во чтобы то ни стало удержать город. Вечером того же дня генерал вызвал к себе подполковника Ковалевского.

— Удирают, — с неудовольствием сказал он в ответ на поздравления Ковалевского со взятием Баязета. — А я бить их пришел, а не по горам бегать. Следовательно, должен настигнуть. Настигнуть и сокрушить. А настигнуть с тылами да госпиталями не могу, и посему решил я здесь все оставить и преследовать налегке.

— А курды, ваше превосходительство? — спросил осторожный подполковник.

— Потому вас командиром и оставляю, — сказал Тергукасов. — Курды покорность изъявили, но вы — старый кавказец.

— Старый, ваше превосходительство, — вздохнул Ковалевский. — Слышал я, полковник Пацевич прибывает?

— Старшим — вы, — сурово повторил генерал. — Пацевич кавказской войны не знает, а хан Нахичеванский — глуп и горяч, хотя и отважен. — Он помолчал, глянул на Ковалевского из-под густых, сросшихся на переносье армянских бровей. — Курды — забота. Может, торговлю с ними? Посмотрите турецкие трофеи. Торгующий враг — уже полврага.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Надеюсь на вас, крепко надеюсь. Ежели Баязет отдадите, я в капкан попаду.

— Слушаюсь, ваше превосходительство, — еще раз сказал подполковник.

На следующий день Ковалевский обследовал захваченные турецкие запасы, выделил для продажи курдам и населению соль, муку и армейские одеяла и поручил торговлю прапорщику Терехину. Терехин уговорил маркитантов и местных купцов развернуть на базаре оживленную торговлю. Курды быстро узнали об этом и стали группами появляться в городе, посылая в большинстве случаев стариков и женщин с небольшой охраной — скорее почетной, чем боевой.

Офицеры бродили по узким и крутым улочкам города, пили в кофейнях густой кофе, курили кальяны да

осматривали цитадель — главную достопримечательность Баязета. Цитадель представляла собой порядком запущенный огромный замок, стоящий на уступе скалы над городским базаром. Однако долго осматривать ее не пришлось: вскоре прибыл капитан Федор Эдуардович Штоквич — человек угрюмый и обидно резкий.

— Начальник военно-временного нумера одиннадцатого госпиталя Тифлисского местного полка капитан Штоквич, — представился он Ковалевскому. — Назначен комендантом цитадели вверенного вашему попечению города. Поскольку там отныне будет размещаться госпиталь, все посещения цитадели запрещаю, о чем и ставлю вас в известность.

Капитан Штоквич смутил добродушного подполковника скрипучим голосом, недружелюбием и странной манерой смотреть в центр лба собеседника. Ковалевский чувствовал себя неуютно и с трудом сдерживался от желания почесать место, куда устремлялся жесткий взгляд начальника госпиталя.

— Хорошо, хорошо. — Он поспешно покивал и, страдая от просьбы, добавил: — В моем распоряжении оставлены младший врач Китаевский и милосердная сестра при двух санитарных фурах. Не угодно ли вам, капитан, допустить их в цитадель, дабы все санитарные...

— Сестра милосердия — ваша родственница?

— Дочь, — виновато признался Ковалевский. — Изъявила добровольное желание, имеет документ.

— Включу на общих основаниях, — сухо сказал Штоквич. — Милосердной сестре будет, естественно, предоставлено право беспрепятственного выхода из цитадели.

— Спасибо вам, спасибо, — заспешил подполковник, чуть ли не раскланиваясь.

В тот же день Тая перебралась в цитадель. До этого она один раз была там вместе с капитаном Гедуляновым, но крепость ей не понравилась, и осматривать ее

они не стали. Посидели в переднем дворе, где приятно журчала вода в бассейне, заглянули во внутренние дворы — также тесно зажатые мощными стенами, с множеством дверей и проходов, также вымощенные каменными плитами, только без бассейнов, — и ушли. Теперь ей предстояло здесь жить, и послушаться приказа она не могла.

Комендант цитадели выделил ей две комнатки во втором внутреннем дворе, приказал обставить всем необходимым и даже допустил излишество в виде двух ковров и старого помутневшего зеркала. Исполнив это, от знакомства уклонился, и Тая видела его лишь издали. Даже записку о беспрепятственном выходе из крепости ей передал младший врач 74-го Ставропольского полка Китаевский.

Максимилиан Казимирович Китаевский был человеком тихим, старательным и неизменно ласковым со всеми без исключения. С невероятными трудностями получив образование, дорожил должностью и службой, позволявшей ему кое-как содержать большую семью, был исправен во всем, но угождать не умел и не стремился. Не имея частной практики, бескорыстно помогал бедным казакам, горцам и бродячим цыганам, чем и снискал себе в полку уважение пожилых офицеров. Он не то чтобы дружил с Ковалевским, но бывал у них, знал Таю с детства, а несчастье с ней воспринял с особой болью, поскольку имел дочь и племянницу того же возраста. И по дороге к Баязету, и в цитадели он неизменно опекал ее, любил вечерами пить с ней чай, рассказывать прочитанное или случаи из жизни, кои полагал поучительными.

В госпитале было скучно. Больных и раненых в деле почти не числилось, забот у Таи пока не было; читала книги и журналы, которые добывал Гедулянов, каждый день навещала отца да пила длинными вечерами чай с младшим врачом Китаевским.

— Читал я в юности одну книжечку, — плавно журчал Максимилиан Казимирович, по-домашнему, с блю-

дечка, прихлебывая чай. — Запомятовал название уж, но суть не в названии, а в мыслях, кои содержала она. Человек у огня живет, а без одного жить не может, такто, помнится, в ней говорилось. И огонь тот женщина хранит, дочь от матери его зажигает, мать дочери передает из века в век от времен библейских...

Китаевский говорил тихо, не мешая думать, и Тая — думала. Неизменно от веселых войсковых побудок до грустных вечерних зорей думала, где же он сейчас, этот странный, издерганный, мучительно дорогой ей Федор Олексин. Как добрался до Кишинева, сумел ли попасть в действующую армию, нашел ли дорогу к столь необходимому для него Михаилу Дмитриевичу Скобелеву? И не заболел, не простудился ли, не ранен ли шальной гранатой, не обманут ли людьми холодными и жестокими? Эти последние думы были особо тревожными: Тая знала, что Федор еще не очерствел душою, что мучается и ищет, что склонен он к поступкам неожиданным и, главное, несмотря ни на что, верит людям безоглядно, а разобраться в них, как и в себе самом, еще не может. Просыпаясь, она думала, где и как просыпается сейчас Федор, хорошо ли он спал, найдется ли у него еда на утро и деньги на обед. И днем беспрестанно думала о нем, пытаюсь представить, где он и что с ним, а засыпая, всегда благословляла его сон и покой и чуточку, словно украдкой от самой себя, мечтала. Совсем немного мечтала, пока не заснет.

Так продолжалось до начала лета. А утром того 4 июня подполковника Ковалевского разыскал командир хоперцев сотник Гвоздин.

— Плохие новости, господин полковник.

Ковалевскийпил чай на низенькой веранде. Молча поставил стакан, натянул сапоги, надел сюртук, скинутый по случаю жары.

— Так. Что за новости?

— От генерала прибыл лазутчик. Из местных армян, что ли.

— Передайте полковнику Пацевичу, хану Нахичеванскому и... коменданту цитадели капитану Штоквичу, что я прошу их прибыть ко мне незамедлительно и непременно. А лазутчика — сюда, сотник. Да казака к окнам. Не болтливое.

Сотник хлопнул плетью по запыленным сапогам и вышел за глухой глиняный дувал. Ковалевский торопливо допил чай и дождался лазутчика на веранде: хотел видеть, как идет, на что смотрит. Но вошедший во двор черноусый молодой человек был озабочен и по сторонам не глядел.

— Ты кто?

— Драгоман его превосходительства генерала Тергукасова Тер-Погосов. Определился на службу по выстулению из Баязета.

Тер-Погосов стоял свободно, отвечал точно и кратко, и это нравилось Ковалевскому.

— Ты местный?

— Я родился в Баязете, но учился в Москве.

— Где же?

— В Лазаревском институте, господин полковник.

— Простите, — смешался Ковалевский. — Извините старика: любопытен. Посланы генералом?

— Да. — Переводчик оглянулся, понизил голос: — По Ванской дороге к Баязету движется отряд Фаик-паша. Турок свыше десяти тысяч при шестнадцати орудиях.

— Господи... — растерянно выдохнул подполковник.

— Еще не все. Курды нарушили перемирие и тоже идут сюда. Генерал приказал передать вам два слова: «Жди. Вернись». Передаю точно.

— Почему же... Почему ждать-то, голубчик?

— Генерал отступает к Игдырю.

Ковалевский снял фуражку, долго вытирал взмокший череп большим носовым платком. В Баязете вместе с тылами и обозниками оставалось никак не более полутора тысяч штыков и сабель да батарея в два четырехфунтовых орудия.

- Змея! Змея, братцы, глядите!
- У, гадина!..
- Не быть добру...
- Точно, братцы, к беде это. К беде...

Потрявоженная тяжким солдатским топотом, длинная черная змея переползала дорогу. Увидев ее, рота невольно замедлила шаг, ряды смешались.

— Дахвати ты ее прикладом! — зло крикнул Гедулянов.

Его куда более тревожило узкое кривое ущелье, по которому второй час шел рекогносцировочный отряд полковника Пацевича. Нарушившие перемирие курды — а в том, что курды взялись за оружие, у капитана сомнений не было — могли обойти отряд поверху и запереть в неудобном для боя дефиле. Он все время озираялся по сторонам, но крутые склоны закрывали обзор, а солдатский топот, гулко отдававшийся в холодном, застоявшемся воздухе, глушил все шумы.

И подполковник Ковалевский, и он были против рекогносцировки большими силами, предлагая выслать казачьи разъезды для освещения местности, а основные части держать в кулаке. Но решительный в бою Ковалевский был робок с прибывшими из России офицерами, приказывать старшему по званию не решался, а спорить не умел.

— Мы разгоним этот сброд тремя залпами! — распаясь, кричал Пацевич.

Штоквич сразу устранился от обсуждения и лишь недобро усмехался. Ковалевский страдал от смущения и привычной застенчивости, не осмеливаясь расстегнуть душивший его ворот сюртука. Хан Нахичеванский лениво дремал, а Пацевич, восторгаясь собственной решимостью, наседали и наседали:

— Наша задача — обеспечить усмиренный тыл генералу Тергукасову, господа. Я имел честь сражаться с регулярными войсками, а уж с дикарями... Стыдно

сомневаться, господа, стыдно не уповать на могучий дух русского солдата.

— Совершеннейшая правда, — с уловимой насмешкой сказал Штоквич, вставая. — Однако прошу позволения откланяться. Я не стратег, я числюсь по санитарной части.

— Хорошо, — страдальчески морщась, сказал Ковалевский. — Только уж коли все силы на рекогносцировку, то и мне в Баязете делать нечего. Прошу подчинить мне все части 74-го Ставропольского.

— Прекрасное решение! — воскликнул Пацевич, больше думая об ордене, за которым приехал, нежели о предстоящей рекогносцировке. — Увидите, как побегут эти вояки после первого же дружного «ура!».

Ночь выдалась холодной, спать не пришлось, готовя стрелков к походу, сто раз повторяя одно и то же: чтоб не разорвали цепь, чтоб не стреляли без команды, чтоб заходили шеренгой...

— И чтоб не бежал никто, слышите меня, ребята? Курду нельзя спину показывать, он тут же тебя шашкой достанет. Пяться, ежели жать сильно станут, но лицом к нему пяться, штыком его держи.

Зазнобило еще перед рассветом, и сейчас в сыром воздухе ущелья колотило так, что капитан стискивал зубы. А крутизна вокруг тянулась и тянулась, и Гедулянов понимал, что озноб у него не только от холода.

Навстречу из-за поворота вырвался казак. Нахлестывая нагайкой коня, бешено скакал вдоль растянувшейся пешей колонны, чудом не задевая за утесы.

— Стой! — крикнул Гедулянов. — Куда?

— К полковнику Пацевичу!

— Стой, говорю! — Капитан успел поймать за повод, резко осадил коня. — Что?

— Курды! — жарким шепотом дыхнул хоперец. — Курды на выходе. Гвоздин сотню спешил, огнем держать будет.

— Рота... бегом! — надувая жилы, закричал Гедулянов. — Бегом, ребята, за мной!

И, отпустив казака, — он не нужен сейчас был, и Пацевич не нужен; сейчас одно нужно было: успеть к выходу из ущелья, пока курды не смяли Гвоздина, — победил. За ним, тяжело топя и брэнча снаряжением, спешила усталая рота. Впереди грохнул залп: казаки открыли огонь, прикрывая развертывание пешей колонны.

Роты вырывались из ущелья в долину, зажатую подступающими со всех сторон горными склонами, и останавливались, топчась на месте и мешая друг другу. Не было ясной диспозиции, что делать в подобном случае, Пацевич почему-то оказался в хвосте колонны, а впереди, охватом, на горных склонах гарцевали, сверкая оружием, всадники в развевающихся ярких одеждах.

— Ростом, занимай правый фланг! — надсадно кричал Гедулянов, торопливо отводя свою роту левее, руками подталкивая растерявшихся. — Терехин, держи центр! Не ложись, ребята, стой во фронте, а штык изготвь! Сомнут, коли заляжем, сомнут!..

За первыми ротами на смирной лошадке неторопливо выехал Ковалевский. Остановился поодаль, чтоб не мешать ротам разобраться, поговорил с сотником Гвоздиным, искоса поглядывая, как, горячась, строит роту Ростом Чекаидзе, куда отвел своих Гедулянов и ладно ли в центре у Терехина.

— Спокойно, братцы, спокойно! — крикнул он. — Это дело обычное, вроде как вилами работать. К себе не подпускай, товарищу пособляй да командира слушай.

Он кричал, перекрывая шум и говор, но кричал по-домашнему, мирно, и сидел без напряжения, и даже лошадка его уютно помахивала хвостом. И эта обычность действовала лучше всяких команд: солдаты подобрались, заняли места, и весь жиденский фронт упруго ошетинился штыками.

Из ущелья все еще вытягивались роты, пристраиваясь во вторые и третьи линии, курды по-прежнему гарцевали, не рискуя приближаться на выстрел после единственного залпа хоперцев, и все как-то успокоилось и примолкло. Наступило равновесие боя, противники

ждали действий друг друга, и никто не решался первым стронуть свою чашу весов. Ковалевский пошептался с Гвоздиным, и тот начал отводить казаков из аванпостной линии к скалам, где коноводы держали лошадей в поводу.

— Бог даст, постоим да и разойдемся, — негромко сказал подполковник Гедулянову. — Главное дело — их под руку не подтолкнуть. Я Гвоздину велел назад поспешать на полном аллюре, пока выход из щели не отрезали, да сейчас не проскочишь, свои покуда мешают.

Полковник Пацевич появился с последними полуротами. Наспех оглядевшись, подскакал к Ковалевскому.

— Почему стоим? Почему не атакуем? Разогнать дикарей! Залпами, залпами!

— Господин полковник, я прошу ничего... — умоляюще начал подполковник.

— Господа офицеры! — закричал Пацевич, вырывая из ножен саблю. — Стрельба полуротно залпами...

— Господин полковник, отмените! — отчаянно выкрикнул Ковалевский.

— Приказываю молчать! За неподчинение...

Все смешалось после первого залпа. Свободно гарцевавшие по склонам курды мгновенно перестроились, словно только и ждали, когда русские начнут. В центре они тут же открыли частую беспорядочную стрельбу, лишь демонстрируя готовность к атаке, а фланговые группы с дикими криками помчались вниз на топтавшийся у горла ущелья русский отряд.

— Гедулянов!.. — странным тонким голосом выкрикнул Ковалевский.

Он приник к лошадиной шее, прижав правую руку к животу. И из-под этой правой руки текла густая черная кровь.

— Ранены? Вы ранены? — подбегая, крикнул Гедулянов.

— Не кричи, не пугай солдат... — с трудом сказал подполковник. — Отходи в ущелье. По-кавказски от-

ходи, перекатными цепями. А меня... на бурку. В живот пули. Жжет. Отходи, Петр, солдат спасай. Не мешкая отходи...

— Ставропольцы, слушай команду! — перекрывая ружейную трескотню, конский топот и гиканье атакующих курдов, закричал Гедулянов. — Перекатными цепями! Пополуротно! Отход!

— Как смеете? Как смеете? Под суд! — надрывался Пацевич, по-прежнему зачем-то размахивая саблей. — Запрещаю!

— Я своими командую, — резко сказал Гедулянов. — Мои со мной пойдут, а вы, если угодно, можете оставаться.

В рекогносцировочном отряде было три роты ставропольцев, по сотне уманских и хоперских казаков и рота Крымского полка. Гвоздин уже увел хоперцев, а командир уманцев войсковой старшина Кванин сказал как отрезал:

— Казаков губить не дам.

Сам отход — бег, остановка, залп, бег, остановка, залп — Гедулянов помнил плохо. В памяти остались бессвязные куски, обрывки криков, команд, нескончаемый грохот залпов да истошные крики нападающих курдов. Пацевич окончательно растерялся, что-то орал — его не слушали. Солдаты уже поняли, как надо действовать, чтобы курды не рассекли на части живой, ошетиленный, точно еж, клубок, покотившийся к Баязету, и в командах не нуждались.

Так и выкатились из дефиле. Вырвались и покатились под уклон, все убыстряя бег и уже забывая о цепях. Началось бегство, и курды вырезали бы всех, если бы не казаки, принявшие на себя их сабельный удар. Их бы тоже смяли и вырезали да Штоквич, услышав катящуюся на город пальбу, загодя выслал резерв: роту Крымского полка. Укрывшись в балке, крымцы пропустили своих и с двадцати шагов дружно ударили залпом по лаве атакующих курдов.

Гедулянов вошел в цитадель, когда втянулись все, кто уцелел. К тому времени ворота уже были закрыты, и оставалась только узкая калитка, к которой пришлось пробираться через разбросанные тюки, тряпки, одеяла, ковры. Снаружи вход охраняли солдаты, а внутри, у самой калитки, стоял Штоквич. Солдаты таскали из внутреннего двора плиты и наглухо баррикадировали ворота изнутри.

— Все прошли?

— Мои все, — сказал Гедулянов. — Почему вещи валяются?

— С вещами не пускаю, — скрипуче сказал комендант. — Армяне из города набежали, боятся, что курды вырежут.

— Ковалевский как?

— Не знаю, я не врач. Извольте принять под свою ответственность первый двор и прилегающие участки.

— Вы полагаете...

— Я полагаю, что нам следует готовиться, капитан. На Красные горы вышли черкесы Гази-Магомы Шамия. Уж он-то случая не упустит, это вам не курды.

5

Утром 26 июня полусотня донцов под командованием есаула Афанасьева с гиканьем ворвалась в маленький, со всех сторон стиснутый высотами городишко Плевну. Турки бежали без выстрела, ликующие болгары окружили казаков, в церквах ударили в чугунные била (колокола турки вешать запрещали). Выпив густой, как кровь, местной гымзы, есаул дал казачкам чуточку пошуровать по пустым турецким лавкам и еще засветло покинул гостеприимный городок.

— Было три калеки с половиной, — с нарочитой донской грубоватостью доложил он командиру Кавказской бригады полковнику Тутолмину. — Разогнал, бра-

тушки рады-радешеньки, чего зря сидеть? За сиденье крестов не дают.

В Западном отряде, куда входила Кавказская бригада Тутолмина, крестами позвякивало с особой отчетливостью. Генерал Криденер считал награды первоочередной задачей боя, о чем любил говорить с солдатами. Он остро завидовал Гурко, получившему задачу овладеть перевалами и ворваться в Забалканье, зависти этой не скрывал, а того, что задумал сам, не сообщал никому, даже личному другу генерал-лейтенанту Шильдер-Шульднеру, командиру 5-й пехотной дивизии.

Мысль, что его, Николая Павловича Криденера, барона, обошел — не перед историей, так перед государем — какой-то белорус Гурко, была мучительна своей необъяснимостью. Николай Павлович был старше почти на два десятка лет, считал себя образованнее и — что являлось решающим в данном случае — обладал боевым опытом и имел Золотую саблю. Правда, злые языки утверждали, что надпись на этой сабле следует читать: «За усмирение», ибо получена она была при подавлении Польского восстания, где от Криденера требовалась не столько храбрость, сколько беспощадность. Но что бы там ни говорили, а Гурко и этим похвастаться не мог, и из всех его заслуг Криденер выделял лишь лихую джигитовку на бешеном карьере в присутствии государя.

— Кентавр, — говаривал он, усмехаясь в усы. — А Второй — халатник.

Под «Вторым», произносимым так, что чувствовалась заглавная буква, Криденер разумел Скобелева-младшего. Николай Павлович сызмальства не верил ни в талант, ни в призвание, ни в озарение, уповая лишь на личный опыт и, следовательно, на возраст, поскольку арифметика была простой: чем дольше живешь, тем больше видишь. А в арифметику он верил свято, и для него дважды два всегда, во всех случаях жизни, равнялось четырем.

Задача, полученная им, — «сдерживать противника, только сдерживать!» — казалась ему до обидного незначительной. Он долго изучал карту, дотошно вымерял расстояния, прикидывал возможности и весьма скоро уверовал в то, что в штабе главнокомандующего на эту карту должным образом не смотрели. Его Западный отряд находился ближе к сердцу Болгарии — к Софии, — а посему именно он, барон Криденер, и должен был стать основной фигурой в этой войне. Пусть себе «Кентавр» рвется к перевалам (все равно турки не дадут ему проникнуть в Забалканье), пусть отвлекает на себя противника, пусть путает карты — все это на руку его Западному отряду. В точно рассчитанное время он с цифрами в руках доложит великому князю главнокомандующему (Непокойчицкого здесь надо обойти), с цифрами в руках убедит его в своей правоте и неожиданно для неприятеля ринется через горные проходы к Софии.

Идея была ясна, но мешал Никополь, повисший на левом фланге, — Виддин Криденер в расчет не брал, полагая, что турки не рискнут снять войска с румынской границы при явных русофильских настроениях румынского народа. А Никополь с его восьмьютысячным гарнизоном и более чем сотней орудий был угрозой реальной, избавиться от которой следовало немедленно, дабы развязать себе руки для предстоящего победоносного марша.

— Штурмовать эту развалюгу? — с недоумением спросил начальник штаба 9-го корпуса генерал-майор Шнитников. — Турки сами готовы ее бросить, Николай Павлович, не сыграем ли мы им на руку?

Криденер не терпел возражений, коли решение им было уже принято. Зная его упрямство, Шнитников спорить не стал, тем паче что и командир 5-й дивизии Шильдер-Шульднер горячо высказался за немедленный штурм. Взятие первой турецкой крепости обещало ордена, славу и одобрение свыше, почему никто и не спорил, хотя в целесообразности этой операции сомне-

вались многие. Лишь прикомандированный к Западному отряду генерал-майор свиты его величества граф Толстой открыто и нервно сопротивлялся:

— Осмелюсь напомнить, Николай Павлович, что вы получили приказ сдерживать противника. Сдерживать, не давая ему возможности прорваться к нашим переправам на Дунае.

— Наступление — лучший способ держать неприятеля в напряжении, граф. Не учите пирожника печь пироги.

— Однако, Николай Павлович, не следует при этом забывать о всей массе неприятельских войск. В Виддине сосредоточены крупные турецкие силы. Даже если мы и возьмем Никополь, угроза не уменьшится.

— Вы прибыли за орденом, граф? После падения Никополя я вам предоставляю такую возможность. Но в самом деле вы не будете принимать никакого участия, ибо генерал, не верящий в целесообразность операции, во сто крат опаснее врага.

Сам Никополь штурмовать не пришлось: он капитулировал после артиллерийской бомбардировки. Но при прорыве полевых укреплений турок Криденер потерял свыше тысячи солдат и офицеров. Шесть знамен, пушки и семь тысяч пленных во главе с двумя генералами были наградой за понесенные жертвы.

Отстраненный от всякой деятельности, Толстой в сражениях участия не принимал, глубоко переживая это как личное оскорбление. Пока Криденер торжествовал победу, писал репортажи и приводил в порядок войска, граф одному ему ведомыми путями узнал то, чего внутренне так опасался.

— Турки начали перебрасывать войска из Виддина в наш тыл, Николай Павлович. Я настоятельно прошу незамедлительно отдать приказ Кавказской бригаде занять Плевну. Пока не поздно. Пока еще не поздно, Николай Павлович.